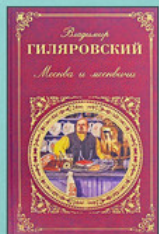


Владимир Гиляровский

Вася



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Владимир Алексеевич Гиляровский

Вася

Серия «Люди театра»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172961

Москва и москвичи: Эксмо; М.; 2008

ISBN 978-5-699-11515-0

Аннотация

«В Тамбов я попал из Воронежа с нашим цирком, ехавшим в Саратов. Цирк с лошадьми и возами обстановки грузился в товарный поезд, который должен был отойти в два часа ночи. Окончив погрузку часов около десяти вечера, я пошел в город поужинать и зашел в маленький ресторанчик Пустовалова в нижнем этаже большого кирпичного нештукатуренного здания театра...»

Владимир Гиляровский

Вася

«Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Эти строки Лермонтова я вспомнил осенью 1875 года в приемной антрепренера театра, в большой комнате с деревянными диванами и стульями.

На стене висела наклеенная на серый коленкор, засиженная мухами карта России, по которой, от скуки ожидания, я и путешествовал пальцем между надписями: «Воронеж», «Саратов,,», «Козлов“ и все никак не находил Тамбова: его не было. Там, где, по моим знаниям, он должен был находиться, красовался сделанный порыжелыми чернилами треугольник, через который проходили линии железной дороги на Саратов и Рязань.

На верху карты стояла размашистая подпись: «Михаил Докучаев ушел в Москву в Ильин день».

Вернулся мой путешествующий по карте палец из Рыбинска в Ярославль. Вспомнились ужасы белильного завода... Мысленно проехал по Волге до Каспия... В дербентские и задонские степи ткнулся, а мысль вернулась в Казань. Опять вспомнился арест, взломанная решетка, побег. И злые глаза допрашивавшего седого жандармского полковника, глядевшие на меня через золотое пенсне над черными бровями... Жутко стало, а в этот момент скрипнула дверь, и я да-

же вздрогнул.

Из кабинета антрепренера вышел его сын, мой новый друг, стройный юноша, мой ровесник по годам, с крупными красивыми чертами лица и волнистой темно-русой шевелюрой. Он старался правой рукой проципнуть чуть пробивающиеся усики.

* * *

В Тамбов я попал из Воронежа с нашим цирком, ехавшим в Саратов. Цирк с лошадьми и возами обстановки грузился в товарный поезд, который должен был отойти в два часа ночи. Окончив погрузку часов около десяти вечера, я пошел в город поужинать и зашел в маленький ресторанчик Пустовалова в нижнем этаже большого кирпичного неоштукатуренного здания театра.

Подойдя к двери, я услышал шум драки. Действительно, шло побоище. Как оказалось после, пятеро базарных торговцев и соборных певчих избивали пятерых актеров, и победа была на стороне первых. Прислуга и хозяин сочувствовали актерам, но боялись подступиться к буйствующим. Особенно пугал их огромного роста косматый буян, оравший неистовым басом. Я увидел тот момент свалки, когда этот верзила схватил за горло прижатого к стене юношу, замахнулся над ним кулаком и орал: «Убью щенка!»

В один момент, поняв, в чем дело, я прыгнул, свалил с ног

буяна и тем же махом двух его товарищей. Картина в один миг переменилась: прислуга бросилась на помощь актерам, и мы общими силами вытолкали хулиганов за дверь.

И пошел пир. Отбитый мною юноша, общий любимец, был сын антрепренера театра Григорьева, а с ним его друзья актеры и театральный машинист Ваня Семилетов. Хозяин ресторанички Пустовалов поставил нам угощение, и все благодарили меня. Часы пробили два, мой цирк уехал, – тогда только я спохватился и рассказал об этом за столом.

– Брось ты свой цирк, поступай в актеры, я попрошу отца, он тебя устроит, – уговаривал меня Григорьев.

И все остальные стали меня упрашивать.

А тут вспомнил я, что наш цирк собирался на весну в Казань, а потом в Нижний на ярмарку, а Казани, после ареста, я боялся больше всего: допрашивавший меня жандарм с золотым пенсне, с черными бровями опять вырос предо мной. Вещей в багаже осталось у меня не богато, бумаг никаких. Имени моего в цирке не знали: Алексис да Алексис – и только. Поди ищи меня!

Переночевал я на ящике из-под вина в одной из подвальных комнат театра, а утром, в восемь часов, пришел ко мне чистенький и свежий Вася Григорьев. Одет я был прилично, в высоких козловых сапогах с модными тогда медными подковами и лаковыми отворотами, новый пиджак, летнее пальто, только рубаха – синяя косоворотка.

И вот я один в приемной. Вася ушел к отцу, и тот, как

оказалось, посадил его за составление афиши, почему я так долго и путешествовал указательным перстом по карте России.

Васе я назвал свою настоящую фамилию, родину, сказал, что был в гимназии и увлекся цирком, а о других похождениях ни слова. Я был совершенно спокоен, что, если буду в театре, мой отец паспорт пришлет. А Вася дал мне слово, что своего отца он уговорит принять меня.

И когда вслед за Васей показалась могучая фигура Григорьева в бухарском халате нараспашку, когда я взглянул на его полное бритое лицо – сын на него как две капли воды был похож, те же добрые карие глаза и ласковая улыбка, – я сразу ожил.

Старик протянул мне большую мягкую руку и сказал:

– Пойдемте в столовую чай пить. Там уже собрались все свои, а вы наш. В цирке служили?

– Да.

– Значит, вы настоящий артист... Сегодня вечером, для первого дебюта, мы вас вымажем сажей и выпустим негром. Пойдемте, – взял меня под руку, повел и представил шумевшим за чаем актерам и актрисам.

Меня встретили аплодисментами. Оказалось, что все знали вчерашнюю историю – Семилетов, Сережа Евстигнеев и Дорошка Рыбаков, участники побоища, уже за чаем все рассказали, а из меня сделали какого-то Еруслана Лазаревича.

Вечером шла «Хижина дяди Тома», и я в курчавом пари-

ке, вымазанный сажей, сказал мою первую фразу на сцене:
– Здравствуйте, дядя Том.

И даже не заметил, что стоявшие со мной статисты, солдаты Рязанского полка, также сказавшие, как и я, эту фразу, сняли парики из вязанки, принятые ими за шапки, раскланялись и надели их снова. Да и публика не заметил этого. Только Григорьев, игравший дядю Тома, в антракте при всех надрал ухо Васе Григорьеву, который был помощником режиссера, и сказал, чтобы в другой раз объяснил статистам, что парики-одно, а шапки – другое.

* * *

Началась моя новая счастливая жизнь, так непохожая на предшествующие приключенческие годы, но имеющая с ними что-то общее: такая же вольная, такие же простые люди окружали меня – совершенно другие по обличью, по поступкам, по взглядам, но такие же хорошие товарищи.

Цирк, его «камрады», коверкавшие на иностранный лад русский язык, и иностранные женщины, с которыми я за все время сказал каких-нибудь десять слов, уже с первых дней показался мне чужим, а потом скучным. Увлекала только работа и появление перед публикой, а все остальное время пусто и нудно, все были друг другу чужими. А здесь с первого момента я сдружился со всеми, и все – от изящных артистов Песоцкого и Погонина до Ивана Ардальоныча Семиле-

това, машиниста, плотника и декоратора, почувствовавшего ко мне любовь и уважение после сцены в ресторане, – стали моими друзьями.

И сразу переродили меня женщины театра, вернув мне те манеры, которые были приобретены в дамском обществе двух тетенок, младших сестер моей мачехи, только что кончивших Смольный, и бабушки-сенаторши. Самого сенатора, опального вельможу, сослуживца и друга Сперанского, я уже не застал в живых. С тех пор как я ушел от них, за шесть лет, кроме семьи коневода, я несколько дней видел близко только одну женщину – кухарку разбойничьей ватаги атамана Ваняги Орлова, да и та была глухонемая.

Пораженный и ошарашенный увиденным в театре добрейшего Григорьева, я стал человеком театра, преданным ему.

И дела было у меня немало. Григорию Ивановичу Григорьеву я понравился. На третий день он позвал меня к себе в кабинет, где был Вася, и сказал ему:

– Возьми своего друга в помощники и первым делом сделай из него сценариста. Завтра идет «Свадьба Кречинского». Он будет следить за выходами. Пьеса легкая. Она у всех на слуху.

Он передал мне пьесу:

– Завтра на репетиции будете выпускать вы. Прочтите пьесу, запомните выходы. Вася объяснит.

Утром на репетиции и вечером на спектакле я благопо-

лучно справился с новым для меня делом, тем более что все актеры знали свои выходы, – оставалось только следить по книге. Через неделю я справился с «Ревизором». Вася долго меня муштровал:

– Главное, следи за репликами отца, не задержи Добчинского и Бобчинского. Когда он только скажет: «Вдруг открылась дверь – и шашь!», так в тот же миг выпускай их.

Сам я играл Держиморду и в костюме квартального следил за выходами. Меня выпустил Вася. Он отворил дверь и высунул меня на сцену, так что я чуть не запнулся. Загремел огромными сапожищами со шпорами и действительно рывкнул на весь театр: «Был по приказанию», за что «съел аплодисменты» и вызвал одобрительную улыбку городничего – Григорьева, зажавшего мягкой ладонью мне рот. Это была моя вторая фраза, произнесенная на сцене, в первой все-таки уже ответственной роли.

В следующем спектакле «Ревизора», перед Рождеством, я уже играл Добчинского, и эта роль осталась за мной и далее. Вася играл почтмейстера, и мы оба по очереди следили за выходами.

Работы было довольно. Ежедневно читали пьесы. Библиотека Григорьева была большая. Кроме того, на моей обязанности было выписывать, конечно, сперва под руководством Васи, костюмы и реквизит, иногда самый неожиданный.

Для какой-то обстановочной пьесы, кажется «Лукреции Борджиа», потребовалось двенадцать гробов, и я вместе с

Васей и реквизитором ездил за ними на базар в гробовую лавку.

Мы сопровождали этот груз издали по главным улицам города, чтобы все видели, что его везут в театр. За нами бежали мальчишки, и к вечеру весь город говорил об этом.

Это была великолепная реклама, которую придумал бенефициант А.И. Славин.

Высокий и грузный, вращая большими темными глазами, он завывал баритоном, переходившим в бас, с небольшой хрипотцой Кузьму Рощина, Прокопа Ляпунова и других атаманов, имея главный успех на ярмарочных спектаклях.

Здесь он недурно исполнял роли благородных отцов и окончил мирно свое земное странствие в Москве, каким-то путем попав на небольшие роли в Малый театр. Иногда в ресторане Вельде или «Альпийской розе» он вспоминал свое прошлое, как он из бедного еврейского местечка на Волыни убежал от родителей с труппой бродячих комедиантов, где-то на ярмарке попал к Григорьеву и прижился у него на десятки лет.

* * *

В Тамбове на базарной площади, пахнувшей постоянно навозом, а в базарные дни шумной и пьяной, были лучшие тамбовские трактиры – Югова и Абакумыча. У последнего стояли два прекрасных фрейбергских бильярда, к которым и

привел меня сыграть партию любитель бильярда Вася в первые дни моего приезда. Но сыграть нам не пришлось: на одном играл с каким-то баритоном в золотых очках местный домовладелец Морозов, в долгополом сюртуке и сапогах бутылками, а на другом – два почтенных, кругленьких, коротеньких старичка,

Один из них, в цветном, застегнутом наглухо до седой бородки жилете, с рубахой навыпуск, нестерпимо скрипел своими сапогами – тогда была мода носить сапоги со скрипом; другой, в прекрасно сшитом черном, весьма поношенном сюртуке, неслышно двигался в черных замшевых сапожках, осторожно ступая подагрическими ногами.

Орлиный профиль, коротко подстриженные черные с проседью усы на бритом матово-смуглом лице, освещенном ласковым взглядом черных глаз, остановили на себе мое внимание. Так неожиданно было в тамбовском базарном трактире встретить такой тип.

Он стоял, опершись на кий, и улыбнулся, когда его партнер не сумел положить почти висевший над лузой желтый шар.

– Забил ты меня, князь. Прямо забил... – И старичок в сапогах со скрипом крикнул маркеру: – Федька, теплые сапоги!

В это время человек, названный князем, увидел нас.

– А, Вася! Очень рад.

Вася представил меня князю как своего друга.

– Очень рад! Значит, нам новый товарищ! – И крепко пожал мне руку. – «Vos intimes – nosintimes!» – «Ваши друзья – наши друзья!» Вася, заказывай вина! Икру зернистую и стерлядок сегодня Абакумыч получил. Садитесь. – Князь указал на стулья вокруг довольно большого «хозяйского» стола, на котором стояли на серебряном подносе с княжеским гербом пузатый чайник с розами и две низенькие трактирные чашечки, тоже с розами и золотым ободком внутри. На двух блюдечках лежали крупный изюм и сотовый мед.

На другой половине стола мигом явился графинчик с водкой, икра, балык, тарелки с княжескими гербами и серебряные ложки.

С Абакумыча маркер снял скрипучие сапоги и стал переобувать его в огромные серые валенки, толсто подшитые войлоком, а в это время вошел наш актер Островский, тоже пузатенький, но с лицом римского сенатора – прямо голова Юлия Цезаря!

– А... Василий Трофимович!.. Садись иди, водочку подали... икра...

– Нет, князинька, не могу... Не пью...

– Очень хорошо. Бери пример с меня: кроме чая с изюмом и медом – ничего.

– И рад бы, да не выходит! Попадет вожжа под хвост – и закручу на неделю! Вчера отпил. Вина видеть не могу!

– Ну, садись, садись!

Абакумыч переобулся. Вынул из кошелька гривенник за

проигранную партию.

– На, получай. Становись, по двугривенному! Уж теперь
я и взбутетеню нашу светлость! Идет по двугривенному?

– Идет!

Партнеры увлеклись. Абакумыч двигал огромные валенки и не торопился, обрадовавшись всяческому, как тогда, над лузой шару. Островский закусил икры и балыка. Ему подали стакан и блюдечко малинового варенья, а нам бутылку розового кавказского вина, которое князь получил в подарок от своего друга из Озургет. Князь угощал им только лучших друзей и держал его в подвале Абакумыча, у которого и квартировал, когда подолгу живал в Тамбове. Островский был старый друг князя К. К. Имеретинского. При нем князь и попал в театр.

Этот сезон и Великий пост мы провели вместе с князем в Тамбове, а через год дружески встретились с ним в Москве, в Артистическом кружке, действительным членом и даже одним из учредителей которого он состоял. Любопытный тип был светлейший князь К. К. Имеретинский.

В Кружке он также пил чаек с изюмом и медом, бывал на всех спектаклях и репетициях Кружка, на всех премьерах Малого театра, но в тот сезон сам не выступал на сцене: страдал астмой.

Из Петербурга к нему приехал его младший брат, блестящий гвардейский офицер, флигель-адъютант, придворная особа. Таким же важным лицом был прежде при царском

дворе и наш князь. Оба эти светлейшие Имеретинские, как потомки грузинских царей, были особенно отличены и, по получении образования в пажеском корпусе, определены ко двору: старший, Константин, «числился» по гражданскому ведомству, а младший был выпущен в гвардию. Оба красавцы, образованные да еще «царской крови», Имеретинские могли бы занять самые высокие места, чего и достиг младший, в конце концов ставший наместником в Польше. До чего мог бы дослужиться старший, носивший уже тогда, когда еще младший был пажем, высокое придворное звание шталмейстера, трудно сказать, но...

Страстный любитель лошадей, князь поехал как-то на самую знаменитую конскую ярмарку – Коренную – и там подружился с Василием Трофимовичем Островским, маленьким актером бродячей труппы Григорьева.

Эта ярмарка при Коренной пустыни Курской губернии еще в восьмидесятых годах поражала меня своей кипучей и пестрой суетой и необыкновенной обстановкой.

А вот какой она была в то время, когда еще при «крепостном праве» Григорьев приехал целым обозом со своей труппой перед началом ярмарки, чтобы успеть построить дощатый театр? С каким восторгом, будучи в подвыпитии, Островский рассказывал о тех счастливых днях его актерской юности в Коренной, где он в одну из ярмарок, будучи семинаристом, гостил у своего дяди, дьякона, побывал в театре Григорьева и по окончании ярмарки уехал вместе с труппой.

Через год на той же ярмарке он пел Всеслава в «Аскольдовой могиле», к великому огорчению своих родных, примирившихся с совершившимся фактом только после того, как он познакомил своего дядю с блестящим князем Имеретинским за обедом в придворном дощатом здании, выстроенном дворцовым ведомством специально для своего представителя, приехавшего покупать лошадей для царских конюшен. Когда дьякон попал на обед и увидел своего племянника в кругу аристократии, первым другом блестящего князя, дьякон и вся родня «простили заблудного», которого до этого они мнили видеть архиереем. Все это живо и образно рисовал нам Василий Трофимович во время своих ежемесячных загулов.

Да и было что рисовать!

Сотни плотников и разного мастерового люда гремели топорами и визжали пилами. Строились вокруг постоянных, ярмарочных зданий легкие дома для помещиков, приезжавших на ярмарку со своими семьями и многочисленной дворней; река Тускарь белела купальнями.

«Панские ряды» в азиатском вкусе вновь красились и отделявались, триста деревянных лавок красовались в долине Тускари, а ларькам и счету не было. И все это кишело приезжими.

Во многих лавках и закрытых клетках пели соловьи, знаменитые курские соловьи, за которых любители платили сотни рублей. На развале – пряники, изюм, чернослив, шептала,

урюк горами высились. Гармонисты, песенники, рожечники, гусяры – повсюду. Около материй толпились бабы в паневах, сарафанах и платках и модные дамы-помещицы. Коридор и полы лавок были мягки от свежего душистого сена и травы – душистой мяты и полыни.

В Панских рядах барыни отбирали целыми кучами куски материй и галантереи, и торговцы присылали их в помещицьи ставки и драли за них, сколько хотели.

Но самый центр был – конская ярмарка. Любители и коннозаводчики, десятки ремонтеров приезжали из всех гвардейских и армейских полков на эту ярмарку и безумно сорили деньгами. Все перемешалось, перепуталось: от крепостников до крепостных рабов, от артистов и музыкантов до сотен калек-нищих, слепых певцов и лирников. И все это наживало и по-своему богатело.

В первые дни на конскую ярмарку не допускались барышники и цыгане. Только когда уже налюбуются крэками заводов и накупят вдоволь помещики-коннозаводчики, навалятся и загудят барышники, захлопают бичами и заорут толпы цыган с наштигованными разными, вплоть до скипидара и перца, снадобьями, резвыми на десять минут, взбодренными лошадками-калеками.

Насытившиеся покупками бары гуляли. Шампанское и заморские деликатесы лились реками и высились горами. Около барских ставок целый день стук ножей – десятки крепостных поваров стараются вовсю.

Много рассказывал Василий Трофимович о Коренной ярмарке и о том, как он с Имеретинским подружился.

– Труппа была у нас веселая и недурная. Мы только приготовили сцену и репетировали, как приехали придворные. Конюшни их были построены недалеко от театра. Как-то на репетиции зашел молодой чиновник – это и был князинец. После репетиции пошли к нам обедать, тут же при театре. Жили мы попросту: большой стол в сенях, кухня рядом. Щи хлебали из общих чашек деревянными ложками. Помню, подали огромный противень – бараний бок с кашей. И князь с нами ест, угощали водкой – не пьет. А бараний бок ему понравился. Своего повара сейчас же прислал учиться, как его жарить. На другой день князь всей нашей труппе ответный обед закатил... Что было! И шампанское, и всяческие бламанжи, и рябчики, а посуда вся с царскими орлами, и служат нам лакеи в ливреях. Сперва молча ели, потом стали стихи читать, монологи, петь начали, а потом уже дошли до точки. А князь смеется да радуется... Пьяные подходят к нему, обнимаются, целуют по актерской привычке, а он ничего, на «ты» пили... Только он лимонад пил, вина не употреблял, упрямый не могли... Нашим актрисам почтительно ручки целовал, и никакого ухаживанья! Как с придворными дамами обращался. Потом при прощании всем подарки поднес. Качевскому пенковую трубку дорогую, и сейчас она у него. Мне серебряный кавказский пояс, Григорию Ивановичу старинную стопу – цены нет. А на другой день опять на

репетицию пришел. Да и зачастил. Репетицию всю просидит в кулисе с Григорием Ивановичем, пьесы брал читать. Вечером всегда в театре в своем обществе, а за кулисы забежит. Прямо жить без нас не мог! – закончил свой рассказ Островский.

После Коренной ярмарки князь увлекся театром, бросил придворную службу, переехал в Москву и неожиданно для «высочайшего двора», с которым он порвал все отношения, стал играть в любительских кружках.

На какие-то, не особенно крупные средства от княжеского имущества Имеретинский жил очень скромно. Он пользовался уважением и почетом среди тамбовского дворянства.

Со всеми актерами князь вел себя по-товарищески, со многими был на «ты». Звали его все «князь», но отнюдь не «ваша светлость», как звало его все тамбовское начальство. Тамбовский театр процветал, и публика относилась к нему и антрепренеру Григорьеву с особым уважением. Здесь не было провинциальных ухаживателей, подносящих подарки хорошеньким женщинам, а не хорошим артисткам, не было «шлянья» в уборные ухажеров. За кулисы проходили только настоящие любители: Сатины, Ознобишины, из которых Илья Иванович, автор нескольких пьес и член Общества драматических писателей и Московского артистического кружка, был сам прекрасный актер.

В числе немногих, почетно принятых за кулисами, был начальник восемнадцатой дивизии генерал Карцев, впослед-

ствии, в 1877 году, прославившийся тем, что дивизия под его командой первой перешла Дунай. В литературе Карцев известен своими мемуарами. Таким же любителем театра в Рязанском полку был и адъютант Эльснер, ставивший солдатские спектакли, для которых Григорьев давал ему костюмы. Эти спектакли всегда режиссировал кто-нибудь из наших актеров. На каждый спектакль своего театра Григорьев посылал в полк двадцать билетов на галерку и два билета в партер. Эльснер был первым офицером, получившим Георгия за то, что во главе своей роты перешел Дунай.

Как-то уже после того, как я познакомился с князем, я увидел в кабинете Григорьева прошлогоднюю афишу:

«В тамбовском театре под управлением К. К. Звездочкина в бенефис К. К. Звездочкина поставлена будет „Свадьба Кречинского“. Роль Расплюева исполнит бенефициант».

Узнаю, что в прошлом году театр держал Звездочкин, известный московский любитель, и что этот Звездочкин и есть князь Имеретинский. Служить у него считалось за большое счастье: он первый повысил актерам жалованье до неслыханных дотоле размеров. Звездочкин три раза был антрепренером, неизбежно прогорал и снова жил то в Москве, то в Тамбове, где изредка выступал на сцене.

В Тамбове он останавливался у Абакумыча и был рад, когда ему удавалось «загнать Абакумыча в валеные сапоги» и выиграть у него гривенник на бильярде. Первый раз он снял театр на зиму у Григорьева, получив откуда-то наследство,

которое и ухлопал в один сезон. Потом еще два наследства потерял на антрепризе: несмотря на то, что тамбовская публика охотно посещала театр, расходов не окупали даже полные сборы.

И снова театр держал Григорьев, и снова около него ютились старые друзья-актеры, приходившие если не послужить, так пожить у старого друга.

Летом, вместо того чтобы отдыхать, Григорьев играл по маленьким городишкам и ярмаркам специально для того, чтобы прокормить своих старых друзей, много лет считавших и дом и театр Григорьева своими.

«А семья-то?... Кто их кормить будет?... Ведь двадцать душ, кроме тех, что придут!..»

Это был разговор только о друзьях-актерах, ядре его постоянной труппы, хотя половина их ни в одну труппу не была бы принята.

Собственно же семья у Григорьева была небольшая. Он сам, шестидесятилетний, могучий, не знающий усталости старик, давно овдовел. Вторая, гражданская жена его, Анна Николаевна, настолько некрасивая, что ее даже на сцену выпускать было нельзя, и дочь ее лет двадцати двух, актриса на маленькие роли, Николаева, – обе почти незаметные существа, которые вели домашнее хозяйство, были скромны, молчаливы, ни с кем не ссорились и не сплетничали.

Григорий Иванович относился к ним ласково, как и ко всем своим, которым говорил, кроме самых близких, «вы»,

да еще прибавлял: «с», особенно когда кого застанет в подвыпитии.

«Вы что же-с, Иван Ардальоныч? Опять-с?...»

Чаще других усовещевал он Семилетова, который во хмелю был буен, но, чуть показывался Григорий Иванович, сразу же стихал как в воду опущенный. Однако был случай, когда Григорьев его выгнал. Напившись в ресторанчике Пустовалова, Ваня поднялся наверх, где шла репетиция. Идет, шатаясь во все стороны, и угрожающе орет, размахивая кулачком:

– Всех расшибу я до полушки! Начну с Адамовой головы!..

Репетировали «Ревизора». Григорьев был один из самых лучших городничих, каких когда-либо я видел. Он сидел в кресле и вполголоса читал свой монолог: «Чего смеетесь? Над собой смеетесь!..»

Вдруг остановился, услышав оранье, и голову поднял. Я в первый и последний раз видел его таким, даже жутко стало. Все замерли, а Ванька ввалился уже на сцену и орет, никого и ничего не видя:

– Начну с Адамовой головы!..

– Нет, уж довольно-с, – как-то прошипел на весь театр Григорьев, вскочил с кресла и двинулся навстречу к Семилетову. – Довольно-с!..

И так мазанул по уху бросившегося на него с кулаком Ваньку, не узнававшего никого, что тот через рампу переле-

тел в оркестр и дико выл от боли, лежа между сломанными попитрами.

Григорий Иванович стоял и тяжело дышал, а на глазах слезы.

Все мы стали его успокаивать, усадили в кресло.

– Извините меня... В первый раз в жизни не сдержался... Ну, подумайте... За что же оскорблять женщину?... Да еще не виноватую в том, что она такая.

После уж от Васи я узнал все. «Адамовой головой» кто-то со злости назвал Анну Николаевну, о чем до этого случая никто не знал. Действительно, бледная, с большими темными, очень глубоко сидящими добрыми глазами и с совершенно вдавленным носом, она была похожа издали на череп. Судя по лицу, можно было думать, что это результат известной болезни, но ее прекрасный голос сразу опровергал это подозрение.

И вот этот самый нос и сделал Анну Николаевну женой Григорьева. Единственная дочь небогатого Воронежского торговца-вдовца, она была против воли выдана замуж через сваху за какого-то чиновника, который оказался пьяницей и бил жену нещадно, упрекая ее за то, что она не принесла ему приданого.

Когда дочке Анны Николаевны, Мане, было два года, умер ее отец, не оставивший после себя ничего, кроме долгов. Пьяный муж, озлобившись, схватил жену за косу и ударил ее лицом о печку, раздробив нос и изуродовав лицо. В тот же

год его самого сослали по суду в Сибирь за кражу казенных денег.

Женщина осталась с дочкой – ни вдова, ни замужняя, без куска хлеба. Это было в Воронеже, она жила в доме купца Аносова, дяди Григория Ивановича, куда последний приехал погостить. За год до этого, после рождения младшей дочери Нади, он похоронил жену. Кроме Нади, остались трехлетний Вася и пятилетняя Соня.

В семье дяди Григорий Иванович встретился с несчастной Анной Николаевной, которую с ее пятилетней дочкой приютили Аносовы – сами люди очень небогатые. Григорий Иванович предложил ей место воспитательницы своих детей и увез ее в Тамбов. Выбор оказался прекрасным. Анна Николаевна воспитала детей вместе со своей дочкой. Ее любимицей была старшая Соня, в полном смысле красавица, с великолепным голосом, который музыкальная мачеха, хорошая певица, развила в ней сама, и маленькая девочка стала вскоре в подходящих ролях выступать в театре отца, а Вася стал помощником режиссера.

Васю Григорьева никто не называл Василием Григорьевичем: Вася да Вася или Васенька, до самой его кончины уже в начале этого столетия, о которой я узнал в Москве от его друга Володи Кригера:

– Вася умер на днях, слышал? В Козлове, от угара, на своей постели... Истопили печь, рано закрыли, – рассказывал этот бодрый, всегда веселый человек, а у самого слезы гра-

дом.

И с кем из актеров, наших общих друзей, я в тот год да и после ни встретался, все мне сообщали с печалью:

«Вася умер!»

Фамилии даже не называли, а только: Вася. И лились воспоминания о безвременно погибшем друге – добром, сердечном человеке. Женат был Вася на младшей из артистической семьи Талановых. Супруги никогда не разлучались, и в злополучный день – служили они в Козлове – жена была в театре, а он не был занят в пьесе, уснул дома, да так и не проснулся.

При воспоминании о Васе всегда передо мной встают яркие картины и типы моего первого театрального сезона в 1875 году.

Драматическая труппа была великолепная; кроме драмы, ставились оперетки и даже оперы.

Была поставлена и «Аскольдова могила». Торопку пел знаменитый в то время тенор Петруша Молодцов, а Неизвестного должен был петь Волгин-Кречетов, трагик. Так, по крайней мере, стояло в афише. Репетировали без Неизвестного. Наступил день спектакля, а на утренней репетиции Волгина-Кречетова нет.

– А как же Неизвестный? Ведь Волгин не приехал? – спрашивают Григория Ивановича.

Григорьев хитро улыбается.

– Ничего-с, репетируйте-с. Неизвестный придет-с... Он

опытный, без репетиции поет.

Срепетировали без Неизвестного.

Вышли на спектакль. Гримируемся. А Волгина-Кречетова нет.

– Григорий Иванович, как же?... Ведь Неизвестного нет...

Отменим спектакль, – горячится режиссер Песоцкий.

– Он у меня-с остановился... Гримируется в моем кабинете. Волгин не приехал, так: я другого пригласил.

– Анонсировать надо?

– Зачем же-с! Волгина здесь не знают, ну, за Волгина и сойдет-с. Это знаменитость, известный Неизвестный. Да вот он! Позвольте познакомить.

Перед нами стоял редкой красоты гигант с небольшой темной бородой и вьющимися кудрями по плечам. Шитый красный кафтан, накинутый на одно плечо, синий суконный охабень еще более увеличивали и без того огромную стройную фигуру.

Все мы так и ахнули – что за сила, что за красота! Театр был полон.

Появление красавца Неизвестного вызвало шумные аплодисменты, а после первой арии театр дрожал и гудел. Во время арии случился курьез, который во всякое другое время вызвал бы хохот, но прекрасно пропетая ария захватила публику, и никто не обратил внимания на то, что «по волнам Днепра» в глубине сцены, «яко по суху», разгуливали две белые кошки.

Дня за три до «Аскольдовой могилы» ставилась в первый раз какая-то обстановочная пьеса, и на утренней репетиции к Васе подошел реквизитор Гольдберг за приказаниями. Вася, только что вернувшись из трактира Абакумыча, был навеселе и, вместе с нужными для спектакля вещами, шутки ради, выписал двенадцать белых кошек. Перед началом спектакля явился в режиссерскую Гольдберг.

– Василий Григорьевич, чисто белых только девять, а три с пятнышками.

– Что такое?

– Кошки. Вот ваша записка: «Двенадцать белых кошек». Ну, так во всем Тамбове только девять чисто белых оказалось... И то две кошки у просвирни взял, по рублю залогу оставил.

– Тащи их сюда.

Вася рассказал окружающим, как он пошутил, выписав кошек.

Явился Гольдберг с мешком. Мяуканье, визг!..

– Развязывай!

Вася схватил мешок и вытряхнул кошек. Те стаей бросились на сцену и довели до обморока какую-то актрису.

Гольдберг рвал на себе седые волосы, ругался. В два дня он переловил с помощью рабочих семь кошек, а пять так и остались жить в театре.

И вот две такие кошки путешествовали «по Днепру» в «Аскольдовой могиле».

* * *

С громадным успехом прошла опера благодаря Неизвестному и Торопке.

Занавес, после долгих вызовов, опустился, и Неизвестный ушел наверх, в квартиру антрепренера, заинтриговав всех.

– Кто? Кто? – только и разговор было.

Мне раньше других пришлось узнать Неизвестного. После спектакля я уснул на ящиках из-под вина, покрытых буркой, которые заменяли мне кровать.

Вдруг сквозь сон слышу в коридоре голосище Неизвестного:

Скоро полночь – час ужасный,
А Всеслава нет, как нет,
И сразу свет хлестнул в глаза.

– А вот и мы пришли, – загремел надо мною бас на мотив Аяксов из «Елены Прекрасной».

Предо мной стоял Вася с лампой, В. Т. Островский, Петя Молодцов с водкой, старый актер А. Д. Казаков с блюдом хлеба и огурцами и с колбасой в руках и Неизвестный в... лиловой рясе.

Кое-как все уселись и начали пить.

Неизвестный оказался дьяконом из соседнего города. Он

знал назубок много опер, потому что ранее учился в Москве в семинарии, был певчим в архиерейском хоре и одновременно хористом в театре.

– Утром ангелов представлял, а ночью дьяволов изображал, – пояснил он.

Для него Григорьев и «Аскольдову могилу» ставил, а для Григорьева, по старой дружбе, дьякон рискнул сыграть.

Про этого дьякона мне пришлось слышать немало анекдотов. Скорее светский человек, чем духовный, «душа общества», он был веселый собеседник, любил посещать театры, пользуясь возможностью, благодаря знакомству с артистами, бывать да кулисами.

Раз он в своем городе попал в маскарад. Но широкое домино не скрыло его богатырской фигуры. Его узнали и окружили в маскараде; дамы наперерыв говорили одно и то же:

– А мы тебя, маска, знаем.

– Ну, а знаете, скажите.

– Отец дьякон.

Встал отец дьякон в позу и на весь зал рявкнул в ответ:

– Чуют правду!

* * *

В пачке запыленных афиш, висевших на стене комнаты В. Т. Островского, я увидел старую тамбовскую афишу: «Птички певчие» – бенефис А. Д. Давыдова. Роль Периколы ис-

полнит С. Г. Бороздина».

– Это кто? – спросил я.

Островский поднялся со стула и разорвал афишу.

– Хорошо, что ты нашел ее. А то увидал бы Григорий Иванович – беда... Не вздумай упомянуть при нем имя Сашки Давыдова да и Сони.

И рассказал мне тайну семьи Григорьевых.

С детства Сонечка, старшая дочь Григория Ивановича, играла на сцене. Однажды она выступила в роли Периколы в «Птичках певчих» вместе с приглашенным в труппу молодым, но уже известным Давыдовым. Успех ее был огромный. Оперетка тогда только начала входить в моду, а такой молодой Периколы, Булоты и Прекрасной Елены тамбовская публика не видела. Лучшего Париса, Пикколло и Рауля – Синей Бороды не было тогда ни в одном театре. О Давыдове и Бороздиной – так отец назвал свою Соню в честь знаменитой артистки – даже в столичной печати заговорили. Но не на радость все это было Григорьеву.

Картежник и гуляка, Давыдов был известен своими любовными похождениями. Соня, как и надо было ожидать, безумно влюбилась в него, и молодые люди тайно сошлись. На первой неделе поста дочь вдруг заявила отцу, что она уезжает с Давыдовым, и, несмотря на слезы и просьбы стариков, уехала.

Портреты дочери исчезли из кабинета отца. Все афиши с ее именем были сожжены.

– У меня-с одна дочь, Наденька, и она никогда не будет на сцене-с, – говаривал старик, продолжая свое театральное дело.

В семье имя Сони не упоминалось, а слава Бороздиной росла, и росли также слухи, что Давыдов дурно обращается с ней, чуть ли даже не бьет. Дурные вести получались в труппе, и, наконец, узнали, что Давыдов бросил Бороздину, променяв ее после большого карточного проигрыша на богатую купчиху, которая заплатила его долги, поставив условием, чтоб он разошелся с артисткой.

И тут же новый слух, еще более ужасный:

– Соня сошлась с Тамарой.

Это был второстепенный актер, игравший первые роли в разных южных городках, но более известный как аферист, игрок и сутенер.

Соня отвергала всех, с кем знакомил ее Тамара, за что он и бил ее смертным боем. Все это доходило до Тамбова, а может быть, и до Григория Ивановича. Он и слова не говорил и только заставил Надю поклясться, что она никогда не пойдет на сцену.

И сдержала Надя свое слово, но все же театра не миновала. Вскоре она вышла замуж за режиссера Владыкина, прекрасного, образованного человека, который исполнил завещание Григорьева и ни разу не выпустил свою жену на сцену. Да и некогда ей было: с первого же года пошли дети, и вся она отдалась воспитанию их. Уже через много лет, про-

езжая через Киев, я был в театре Н.Н. Соловцова, который меня и познакомил со своим режиссером Владыкиным. Он произвел на меня прекрасное впечатление. Владыкин меня очень звал посетить его дом.

– Как вам будет рада Надя! Когда приезжает к нам в гости Вася, то у них только и разговора, что о вас, так что заглазно мы хорошо и давно знакомы.

Но с утренним поездом я должен был уехать в Москву, и не пришлось мне повидать Надю.

* * *

Вася Григорьев весь жил театром, никогда не стремился к славе, не искал ролей, играл добросовестно все, что ему давали. Удавались ему роли простаков и вторые в оперетках. Голос был небольшой, весьма приятный тенор, пел, когда, как говорится, разойдется, под гитару, без устали. Самой любимой его была песня казанских и харьковских студентов «Избушка», которую выучил его петь Селиванов, бывший харьковский студент, потом известный драматический актер конца семидесятых годов. Еще будучи совсем молодым, он имел большой успех в провинции, особенно в Харькове, Киеве, Одессе и Воронеже – учащаяся молодежь его «обожала». В Воронеже, где Вася гостил у своего дяди – деревенского мельника, он и познакомился с Селивановым. Тимоша (Селиванов) тогда был еще гимназистом последних клас-

сов, проводил каникулы у сельского учителя в соседнем селе, откуда ходил на мельницу ловить рыбу. Тут они и подружились. Вася пел арии из оперетт, а у своего друга выучил «Избушку», которая на всю жизнь и осталась любимой песней Васи. У него же он выучился петь «Дубинушку» и по секрету мне одному, наедине, шепотом напевал строчки:

Вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...

Впоследствии Селиванов, уже будучи в славе, на московском съезде сценических деятелей в 1886 году произнес с огромным успехом речь о положении провинциальных актеров. Только из-за этого смелого, по тогдашнему времени, выступления он не был принят в Малый театр, где ему был уже назначен дебют, кажется, в Чацком Селиванову отказали в дебюте после его речей:

– Политику в императорских театрах разводить нельзя-с!

И с тех пор Селиванов окончательно застрял в провинции, охранка запретила ему въезд и Москву, а там и слухи о нем пропали. Вася получал от него приветствия через знакомых актеров и сам посылал их с теми, кто ехал служить в тот город, где был Селиванов, а потом следы его потерялись.